



Александр ЗАКРЖЕВСКИЙ

Религия. Психологические параллели

<фрагмент>

XI

Шумит, шумит знакомым перезвоном
Далекий зов, из Вечности возникший:
Безмирнобледная, увитая хитоном
Воздушночерным, с головой поникшей
И с урной на плечах, глухим порывом
Она скользит бесстрастно над обрывом.

Поток вспененный мчится

Серебряной каймой.

И ей все то же снится

Над бездной роковой.

Провалы, кручи, гроты,

Недвижимы, как сон,

Суровые пролеты

Тоскующих времен.

Все ближе голос Вечности сердитой...

Оцепенев, с улыбкою безбурной,

С душой больной над жизнью разбитой —

Над старой, опрокинутою урной —

Она стоит у пропасти туманной

Виденьем черным, сказкою обманной.

*Андрей Белый*¹

Земля заслонила для Розанова все. Кроме земли ничего и нет. Он словно забыл, что существует вечность... Но Достоевский этого не забывал. Если он даже и не думал постоянно о вечности, то уже во всяком случае — он ее чувствовал... Она пробивалась сквозь его замыслы. Она являлась Мышкину в его безумных снах. Она мучила Кириллова, и хотелось ему заключить ее в один миг. Она представлялась Ивану Карамазову в его беседах с чертом². Чувствовал он ее, чувствовал. Чувствовал ужас хаоса, над которым царит она, постигал кружение миров в ее море бездонном,

и угасание их, и пожары, и пепел их, и смерть, и вновь воскресенье, и вновь кружение, и возврат к прежнему состоянию, и тоску людей, и тоску вселенной, охваченной со всех сторон неизвестностью... Он понимал, что «теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, мутнела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода яже бе над твердью, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечное число раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки... Скучища неприличнейшая!..» *

Кто постигнет это — тому уже земля ничо чем. Будет в каждом изгибе жизни видеть странные отражения. Будет чувствовать вечное кружение. Вся жизнь покажется маленькой шуткой, оскорбляющей вечность, и эта последняя зачарует, обессилит, пройдет сквозь душу — и оторвет от мира...

Кто знает вечность — тот знает тайну. И вот — вся жизнь лишь призрак ненужный, ибо не здесь лежит душа, здесь она лишь мучается категориями и разумом, здесь — смерть ее, а высшая и единственная реальность скрыта от глаз — и оттого, что скрыта — голоса поют в тишине, всё зовут, манят, и небеса, и облака, и звезды — всё — *часть* души, всё — мир ее единственный, и к нему она рвется, и его она жаждет, а здесь лишь тоска и смерть...

Вечность — пристань, красота и ужас... Вечность — музыка несказанного. Вечность — покой и забвенье... И кажется — она не обманет. Она — прекрасна и чиста... И кажется, в голубом ее царстве — отрада и освобождение... И верится, что спасет она от тоски и от смерти, и от жизни, ибо в ней — граница и начало, ибо в ней — ключ к пониманию того, что не понятно теперь.

Как любил ее Ницше!.. Она была его единственной любовью. В ее тайне постиг он ненайденный в пределах земного смысл... В один из его многострадальных дней она прорвалась вихрем жгучим сквозь пространство и время... Она явила ему тайну вечного возвращения... Это был знаменательный день, никогда не мог он забыть его. Вся душа содрогнулась, было близко безумие. Этот твердый и мужественный человек от надрыва в понимании вечности — разрыдался. Стал беспомощен и слаб, как ребенок. В его орлиных, хищных глазах отразилась лазурная улыбка вечности. Это было как в припадке безумия.

Сидя у подножия скалы, среди торжественного шума леса, Ницше не мог удержаться от бурного рыдания. Мысль, поразившая его, была слишком мучительно, слишком болезненно, слишком глубоко понята и *пережита* им. Эта мысль была как озарение свыше. Задыхаясь от кровно пережитой волнующей истины, Ниц-

* «Братья Карамазовы»³.

ше сидел неподвижно, как пришибленный, сливаясь с бездонным молчанием леса, и по лицу его текли слезы, и весь вид его напоминал раненого орла, который уже не может летать... Пронзенная душа трепетала в муке, и водопад огненных мыслей рассыпался в мозгу каскадом палящих искр.

Он думал: «Время в своем бесконечном течении, в определенные периоды, должно неизбежно повторять одинаковое положение вещей. Это необходимо, значит, необходимо и то, что всякое явление повторяется. Следовательно, через бесконечное, неограниченное, непредвиденное количество лет человек, во всем похожий на меня, полное воплощение меня, сидя в тени этой скалы, найдет в своем уме ту же мысль, которую нашел сейчас я, и эта мысль будет являться в голове этого человека не один, а бесчисленное количество раз, потому что движение, управляющее всеми явлениями, — безостановочно...

Мы — только тени слепой однообразной природы, мы пленники минуты... Мгновенье непреходяще, если оно вечно возвращается, малейший миг является вечным памятником бесконечной ценности и каждый из них божественен...

Пусть все беспрерывно возвращается, это есть высшая степень сближения между будущим и существующим миром: в этом вечном возврате заключается высшая точка мышления» *.

Эта мысль стала излюбленной темой всех настроений Ницше, только идея вечного возврата помогла ему постичь все значение вечности, она приобщила к ней его душу, она сквозь хаос вселенной вывела его на голубые поля восторга. Ибо высший восторг — это познание вечности. И именно оттого, что она неизвестна, что она прекрасна своей безумной неизвестностью, что закрыта она для чувств и для понимания, что в ней слиты всё и ничто в одну непостижимую гармонию — именно от этого восторг и трепетание, и радостная дрожь надежды... Ницше — атеист и богоборец — молился вечности, она заставляла его рыдать и томиться, она вызывала в нем божественное желание, она манила его к себе, она его вдохновляла.

...Он не в силах был облечь ее в образ... Он не в силах был постигнуть имя ее — странное и роковое... Но он писал для нее... У него не было женщины — вдохновительницы, ее заменяла для него вечность... Но и он постигал, что душа ее — женственна... Но все очарование этой женственности, этой роковой Софии, так ясно открывшейся Соловьеву, — было и ему ведомо, только сознавалось смутно...

И вот — детский восторг Ницше перед вечностью — восторг, соединяющий его с нею в одном внемировом, страшном поцелуе...

* Галеви. Жизнь Ф. Ницше⁴.

И вот — песнь Ницше, песнь волшебного упоения, страдальческая песнь открывшейся истины, заменившей для него религию... В этой песне понятна вся его трагедия.

«О, как же не стремиться мне к вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?»

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вечность!»...

Для Ницше идея вечности была утешением. Не каждый может жить этим утешением, ибо слишком оно не реально (в обычном смысле слова). Мы все любим утешения реальные, но когда наше реальное рассыпается прахом, когда оно гниет, когда оно зловонием своим начинает возбуждать тошноту — мы сожалеем, зачем полюбили его!.. И не лучше ли в таком случае избегать реального или же, дойдя до черты, где оно начинается — возвращаться назад?... Не лучше ли, не выгоднее ли для нас любить только полеты и призраки, и из призраков, пусть даже из обманов, — творить свое вечное?... Не лучше ли обмануть себя так, чтобы никакая сила не смогла распутать сетей обмана?... И в обмане — молиться, и таять, и грезить, и сладостно верить в забвенье... Ибо самый последний обман, в котором заключено нечто от вечности, — в тысячу раз радостнее грубой и пресной житейской правды... А может, в призраках-то и снах — наше счастье, наша земля?..

Из современных наших писателей — конечно, безумнее всех влюблен в вечность Андрей Белый... Ему она улыбается в лазури... Его зовет она... Ему напевает она песню свою — восторг белолилейный, песню — вознесенье, песню — влюбленность... И это она кружит его в метелях хаоса, в тяжелых снах, в усталости дней, чаруя, замыкаясь в таинственное кольцо, чертя тайные, сверкающие то рубинами, то алмазами, то заревым пурпуром — знаки свои в черных далях тоски и уныния... И ему тоже она открыла загадку возврата... И, сгорая в золотых лучах солнца, надрываясь в безумных пророчествах, сжигая душу и рассыпаясь пеплом усталости, — он неизменно верен ей, он не потерял ничего умения — слышать всегда, неизменно — всплеск ее колдующих волн, видеть лазурное отражение ее на тусклой поверхности глубин своих бездонных, видеть облеченный в золото лик ее строгий и нежный, всюду, всегда и везде все тот же, все тот же до муки!..

А. Белый — поэт особенный. Он весь в мерцаньях: вспыхнет, зажжется, рассыпется, угаснет, исчезнет — и кажется — вот не вернется... Но вот, — уже на другом полюсе, — снова зажигается пламя его бледное (бледное от муки), и снова горит тревожно, трепетно, лихорадочно, и снова, промерцав мгновенье, — исчезает, чтобы возникнуть на новом месте...

Сколько раз изменял он свою почву, пересаживался... Но почвы — разные, а он-то все один. И куда бы он ни пересадил себя — всегда узнаю лик его: — пламенная боль струящаяся, которая тает от силы своей, — всегда неизменный: — и тогда, когда он пророк, и когда захочется ему вдруг по щучьему велению переодеться в марксиста, и даже тогда, когда он поклоняется научной поэзии, — всегда для меня он один и особенный...

В чем его особенность? Это труднее сказать, и несравненно легче почувствовать. Когда прочтете его страницу — сначала голова закружится, и мне случалось видеть, как многие от него отворачивались и ворчали: «ну, зачем не говорит по-человечески», и для этих он становился врагом... Но были и такие (немногие), которые, раскрыв страницу его книги, — поразились, потом перечитывали еще, и еще — и вот строгая, недоверчивая сосредоточенность сменялась восхищением: странно поражала музыкальность речи, и что-то вещее в ритме слов, и эти неожиданные провалы среди легко бегущих строк, и внезапная озаренность, почти детская, и волнующее сочетание юмора с философской серьезностью, и наконец — эта лазурная, гибкая, нежно изящная напевность стиля, говорящая о родственности с Ницше — напевность, ведущая мысль к заповедным далям. Поражала также одна странная в нем черта: метод рассуждения: он с одной стороны чисто логический, но само-то построение силлогизмов основано на музыке, у него логика носит характер ритмичности, у него рассуждения проникнуты напевностью. И вот эти немногие говорили, закрывая книгу: «Да, Андрей Белый — совсем особенный»...

.....

Какая чистая, ничем не омраченная прозрачность! Мир — это золото в лазури вечности, и во всем — очарованность, и во всем — мечта и восторг... Кажется — в майский чудный день юная душа распахнулась навстречу солнцу... Безмятежность... Безбурность... Улыбка... Жизнь — роскошная радуга символов, жизнь — цветение, жизнь — заколдованный сон... И кто-то томится во сне, кто-то рыдает в восторге, что пробуждение близко, кто-то тихий и еще нерожденный в сладостном волнении напрягает душу свою и молится, «чтобы миновал сон этой жизни и чтобы мы очнулись от сна!...» * Но еще не все понятно, еще все живо юною радостью, чудесным блеском лазури, искрометным весельем рубиновых и алмазных огней, еще все дышит счастьем...

Счастье... Оно, как птица белая, кружит душу над пропастями, ворожит, уносит, ласкает... Лебедиными крыльями забвенья баюкает душу птица чудесная, и не слышно волнения, и не видно

* 1-я симфония.

туч, и не страшно: в бесконечной лазури — простор, и свобода, и высь, и в лазурном молчаньи снятся золотые сны...

Обняла душу, прильнула, уносит Вечность... И это не жизнь, это — сказка, это отблески рая в душе, это восторг... Сладостно пить вино огневое — вечность... Носясь над пропастями — жмурить глаза и смеяться... Солнечные брызги опаляют лицо... И вверху — и внизу — и вокруг: — бесконечность, восторг, опьянение... Пышным букетом цветет душа, ей снится полет столетий, ей грезится Лик огневой, золотой, чудесный. Леопардова шкура зари опьяняет блаженством... На корабле облаков по волнам лазури мчится душа к чуду весеннему, смеется, рыдает, горит, она вся в песне, она вся в молитвенных звуках, вся в ожидании; рассекая алмазными веслами безбрежность — мчится и мчится, лелея в мечтах и надеждах образ свой чудный, искру священную, свое Золотое Руно!..

От воздушного пьянства
Онемела земля.
Золотые пространства,
Золотые поля...⁵

Все тонет в изумрудных волнах... Белые гребни волн отливают багряным... Острова... Острова светозарного счастья... Искры веселья... Пурпур зари... Огненное золото символов — словно драгоценная оправка алмазов... И в алмазах — бездонность... Улыбки... Громовые раскаты... Великаны на склонах гор — как свинцовые громады туч — громоздятся, вступают в борьбу, оглашают воздух ревом своим, обрушиваются в море... В темных гротах — карлики, уроды, попрыхивают зловонные трубки, смеются, замышляют недоброе... Сказка ли, сон ли усталый?.. Никто не даст ответа!.. И как будто не существует ночей — бесконечный, атласисто-нежный, золотой, пламенный день протянулся сквозь жизнь беззакатным сиянием. Ослепительные лучи жалят душу. Широта, золотая прозрачность, веселье. Тихий бархат знойного полдня распахнул пурпурные крылья свои...

Солнца контур старинный,
Золотой, огневой...

Опьяняет сознание солнечный восторг... Вот полет кораблей в море лазурном достигает чудесной страны, искры золотые дрожат на веслах, в разверстую душу льется каскад золотистого, пламенно-жгучего солнца... Закипает восторг... Напрягаются крылья...

Все небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
над нами.

На горных вершинах
 наш Арго,
 наш Арго,
 готовясь лететь, золотыми крылами
 забил.
 Земля отлетает...
 Вино
 мировое
 пылает
 пожаром
 опять:
 то огненным шаром
 блистать выплывает
 руно
 золотое,
 искрясь.
 И блеском объятый,
 Светило дневное,
 Что факелом вновь зажжено,
 несясь
 настигает
 наш Арго крылатый.
 Опять настигает
 свое золотое
 руно...⁶

Да, это заря... Заря золотая... И пусть туманы нависают над морем, пусть волны взрываются грозною тучей — все ясно в душе, все ясно и чисто, как в детстве, и крылья, и сны... Не надо тревоги, не надо морщин на глади покоя, не надо сомнений!... Душа закружилась в высоте и горит блаженством, она юна, она свежа, она голубая, голубая до последних глубин своих, и светит экстазом весны!..

Пусть туманна огнистая даль —
 Посмотри, как все чисто над нами.
 Пронизал голубую эмаль
 Огневеющий пурпур снопами.

О, что значат печали мои!
 В чистом небе так ясно, так ясно!..
 Белоснежный кусок кисеи
 Загорелся мечтой виннокрасной.

Там касатки кричат, уносясь.
 Ах, полет их свободен и волен...
 Светозарные волны, искрясь,
 Озаряют кресты колоколен...⁷

Горит день... Но вот незаметно, неслышно, закатывается солнце... Протянулась золотая усталость заката... Прохладно... Разго-

ревшуюся в весельи и радости душу окатила прохлада — и тревожно, и жутко... Темнеет лазурное небо... И море рокочет так глухо, так глухо... И в насторожившейся душе сквозит глубина...

Глубина трепещет в груди, надрывает ее, слезами, слезами просится наружу. Опускаются крылья. Тоска... Неужели «наши души — отражающие золото»⁸ в сумерках теряют восторг свой пьяный, радость свою?... Да, это уже не то... Вялый покой дышит отравой... Глубина, глубина прохладная, манящая — окутывает душу туманом. Там, на дне ее отражаются звезды, отражается небо... Скоро тьма унесет в глубину... Скоро конец...

Неужели нет уже золота?... Неужели не видно лазури?... Да, все тускнеет, бледнеет... Это в душу впиалась ледяная змея тоски, змея глубины манящей, сосет, изводит, больно... Теперь тревога, теперь забвенье нарушено... Предчувствия... Больные грезы... Глубина зовет...

В печали бледной, виннозолотистой,
 Закрывшись тучей
 И окаймив ее огнистой,
 Сребристо-жгучей,
 Садится солнце красно-золотое...
 И вновь летит
 Вдоль желтых нив волнение святое,
 Овсом шумит:
 «Душа, смирись: средь пира золотого
 Скончался день.
 И на полях туманного былого
 Ложится тень.
 Уставший мир в покое засыпает.
 И впереди
 Весны давно никто не ожидает.
 И ты не жди...
 Нет ничего... И ничего не будет...
 И ты умрешь...
 Исчезнет мир и Бог его забудет,
 Чего ж ты ждешь?».
 В дали зеркальной, огненно-лучистой,
 Закрывшись тучей,
 И окаймив дугой ее огнистой,
 Пунцово-жгучей,
 Огромный шар, склонясь, горит над нивой
 Багрянцем роз.
 Ложится тень. Качается лениво,
 Шумит овес...⁹

Глубина отравляет... Там, где возникает глубина — не избежать водоворота... Ядовитые испарения поднимаются над нею, проникают в душу, и душа болит, и душа замирает в боли... Хочется крикнуть, надорваться, разорвать пелену, понять... Но знает

душа, что, быть может, всё — только сон, и нет надежды проснуться, и никто не разбудит... Долгий, тяжелый сон длится века, и во сне — отражения, это мир... И во сне другой сон — еще глубже — это самосознание...

Кто-то обманул предвечно... Все двери запер и бросил в море ключи... И никто не откроет дверей и не скажет — вот я... Все вещи закрыты для чувств, все вещи дают лишь отражения, но как убедиться — верны они или нет, но как убедиться, что нет сна, и где критерий действительности?.. Кто-то обманул навеки!..

Бескровность, бестелесность предметов навевает сонливую скуку... И уже не хочется бороться с отражениями, — пусть отражаются!.. И снова грезит душа, и ей больно, и ей тяжело... Но кто-то старинный баюкает усталую душу, баюкает грустью, шепчет ей свой вечный, свой жуткий, свой сонный покой:

...Моя дорогая, усни...
 Закатится время... Промчатся как лист золотистый
 Последние в мире, безвременьем смытые дни!..¹⁰

А над круговоротом снов, над хаосом возникающих миров, над жизнью и смертью, над временем и пространством — опрокинулся Лик жуткий и пленительный — Вечность... Слушает и как будто не слышит, знает и как будто ничего ей неизвестно, видит все извилины души и бесстрастна... Но когда душа пропадает в бездонных колодцах глубин — Она отражается вверху Ликом своим пречистым, зовет... И от нее струятся напевные чары... И она спасает от бездн...

Она начало и конец, бездна рождения и бездна смерти... Она — божественная песнь гармонии... Рассеивает мрак хаоса и смотрит лазурными очами... Зовет...

И она расцветает в любви, и любовь без нее мертва... Она сквозит в каждой глубокой мысли, и без нее невыносим восторг... Она знает пути.

Она знает последнюю тайну, которая никогда не откроется. Она мука бескровная, бестелесная красота, безмирная высь... Вот закипает, струится, маячит, волнует, пробуждает молитвы, в звездах и тучах она, в снах и блаженстве экстаза — всюду льется лазурной рекой, журчит, уносит, зовет.

Склоняется над молитвами, тихо журчит, напевает, душу объемлет зовом своим напевным:

Я так близко от вас,
 Мои бедные дети земли,
 В золотой, янтаряющей час...¹¹

И вот — влюбленность... И тоска замирает, сливаясь с блаженством... И снова в тоске огневает заря и лазурь, и снова прозрач-

ность... Так молятся только влюбленные... Только влюбленность эта особенная: кто проник в ее тайну — тот для мира погиб навсегда... Но он счастлив безумно. И счастье земное — дым... И земля уплывает в лазурь... И солнце... И искры... И розы...

В венце голубом Она замирает в небесах, опьяняет вином поцелуйным, навевает истому блаженства...

Образ возлюбленной — Вечности —
 Встретил меня на горах.
 Сердце в беспечности.
 Гул, прозвучавший в веках.
 В жизни загубленной
 Образ возлюбленной,
 Образ возлюбленной — Вечности,
 С ясной улыбкой на милых устах...¹²

.....

Из бездонности вечность уносит человека в другую бездонность, а потом снова хаос, снова кружение, снова человек отрывается и падает на землю, чтобы повториться, а там глубина зовет, призывает назад, рыдает сквозь хаос, к колыбели своей призывает... И жизнь лишь отражение в зеркале вечности — тусклое, смутное... Целый слой отражений... И нельзя постичь, где начало и где конец. И нельзя распутать узла. И нельзя проснуться от сна...

Идея вечного возвращения захватила Белого. Вот она звучит в его творчестве основным мотивом. Она его измучила. Научился проникать в безмирное, стал тяготиться пространством и временем. Но влюбленный в Канта, знал, что не избежать ему этих цепей, знал, что всё лишь — явление и что мир возникает лишь в пространстве и времени... Отсюда иллюзионизм в его миропонимании. Слово царство теней получилось в сознании вместо мира... Полюбил эти тени, нравилось, что они нежные, прозрачные, легкие... Полюбил отражения... Стал забавляться игрой теней, пока не пришел к сознанию, что всё — лишь сон, что нельзя пробудиться от сна... И стало душно.

В бесконечном сне миров отражается Вечность. Баюкает... Нарастают видения... Слышится, как смыкается кольцо времен и потом снова разрывается, чтобы исчезнуть в веках и снова безумно стремиться к соединению... Видится, как затерялся человек во мгле, а потом через некоторое время то же лицо его возникает на другой вселенной — и снова рассыпается, и снова кружится, стремясь к возврату... И так бесконечно... А жизнь — лишь призрак, длящийся мгновенье... А в жизни все напоминает царство, погибшее в веках, царство блаженства... А в жизни — лишь отражения...

И хочется вернуться. И больно, что нет пробужденья... И страшно...

А жизнь мучает бестолковой пляской теней...

В 3-й симфонии («Возврат») идея вечного возвращения, идея, навеянная образом Вечности, пречистой Возлюбленной — получила яркое и оригинальное выражение... Здесь А. Белый окончательно понял всю глубину ницшевского трагизма, трагизма возврата... Но Ницше это ужаснуло... Он понял, что мы — обреченные... Белый же знает, что возврат не бессмысленное повторение, что возврат — провал в голубую бездонность, что глубина над нами обещает блаженство, что душа мира зовет и что близко свидание... Белый знает тайну влюбленности в вечность. И возврат — купель крещения в лазурных водах... И возврат — вознесение от земли в бесконечность... Между вознесением и новым повторением — бездонность, забвенье, прозрачная радость души...

Песнь Ницше, песнь вечного круговорота, песнь хаоса звучит в ушах А. Белого, не переставая... Вслушивается, вникает... Да, это так... В этом — главная тайна, в этом — ключ... Нужно только понять... И века повторяют эхо, и эхо мчится сквозь строй веков — эхо основного напева:

«Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия.

Все погибает, все вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова встречается, вечно остается верным себе кольцо бытия» *.

Да, откликается Белый на зов Заратустры, — да, это так... В этом — вечность. В этом — надежда. Нужно полюбить возврат, нужно полюбить голубую тайну... С тайной слиться навек... Убаюкать, убаюкать себя... Прозреть... Отдохнуть... Время так устало... Пространство так износилось... В возврате — шум вечного моря, восторг, глубина, свидание... Да, «все повторяется. Сумма всех комбинаций атомов вселенной конечна в бесконечности времен, и если повторится хотя бы одна комбинация, повторятся и все комбинации. Но спереди и сзади — бесконечность; и бесконечно повторялись все комбинации атомов, слагающих жизнь, и в жизни нас повторялись и мы. Повторялись и повторимся. Миллиарды веков, отделяющих наше повторение, равны нулю; ибо с угасанием сознания угасает для нас и время. Время измеряем мы в сознании. И бесконечное повторение конечных отрезков времени, когда нас нет, создают для нас бессмертие этой жизни. Мы должны наполнить каждый миг этой жизни вином счастья, если не хотим мы бессмертного несчастья для себя» **.

Там, где-то, в одном кольце времени слушает идею возврата Заратустра и постигает ее до глубины, и не хочет верить, боится губительной истины:

* Ницше. Так говорил Заратустра¹³.

** А. Белый. Арабески (Ф. Ницше), с. 89.

«И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах, — разве все мы уже не существовали?..

И не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный плачевный путь, — не должны ли мы вечно возвращаться?»¹⁴

«Теперь я умираю, и исчезаю, сказал бы ты, и через мгновение я буду ничем. Души так же смертны, как и тело.

Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится — она опять создаст меня. Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения».

«Я снова возвращусь вместе с этим солнцем, с этой землей, с этим орлом, с этой змеею — ни к новой жизни, ни к жизни, похожей на прежнюю; я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом!»*

Здесь, в другом кольце этой жизни — слушает ту же поющую в душе мысль маленький, чахоточный магистрант — Хандриков**, пробуждаясь от сна в веках к несчастенькой, серенькой, придушенной жизни... Пробуждался, видел потоки серого утра в комнате, ребенка, обжигающегося кипятком и ревущего благим матом, видел заостренное личико жены своей — Софьи Чижиковны — и ничего не понимал... Действительность казалась страшным сном... А снившийся сон вечности — действительностью... И еще рокотало море в ушах — море вечности...

Хандриков повторился... Где-то он был маленьким ребенком, играющим на берегу моря. Где это было, когда — разве можно сказать?... Но он знает, что это было, и то, что было тогда — повторяется теперь, в этой жизни, но в измененном виде, повторяется в тех же красках и звуках, повторяется и манит к себе, в глубину бездонную, в глубину голубую...

Как живо помнится: тогда было все так ясно, так радостно... И лазурь улыбалась. И солнце ласкало... «И в море раздавалось сладкое рыданье: это восторг перерос вселенную»...

И его тянуло в бездонность, куда манил змий, и к нему выплывал играть неуклюжий крабб, и Старик громыхал шагами по кручам, спасал от змия, лукаво щурился, старик — исчислитель времен... И на груди его колыхалось ожерелье, и к ожерелью был привешен знак неизменной вечности... Старик был озабочен вычислениями, замышлял повторения, ухмылялся в бороду... Шептал: «Созвездие Волопаса прожило сто миллионов лет. Проживет и еще столько же... А к созвездию Пса приблизилась яростная комета»...

* Ф. Ницше. Так говорил Заратустра¹⁵.

** А. Белый. 3-я симфония.

Старик был совсем особенный. Уходил в туман, направлялся к созвездию Геркулеса... Старик мучил ребенка своею властью. Старик направлял его к гроту, где всё знают, откуда направляются, где под струевой смех — безнадежный, печальный — злой колпачник рассказывал ему сказку о будущем...

А вокруг была лазурь и ширь, и волны...

Тогда все было особенное... Но уже и тогда ребенку казалось, что все это уже где-то было, но кончалось печалью... И так же мучил Старик... Старик — исчислитель времен, повторитель... Старик кружился около ребенка, думал: «Нет, его не спасешь... Он должен повториться. Случится одно из ненужных повторений его»... Старик летел и кричал: «Ребенок повторится, на каждом застывшем бриллианте возникнет он для вечных повторений!»...

И была тревожная тишина, и знакома темная глубина заката... И неся вдали херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня... И море шептало «не надо, не надо»... И херувим рассыпался потоком искр»...

Тогда старик объявил ребенку: «Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам. Тщетно ты будешь перебегать пространства, необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятьях. И тщетен будет твой голос. Но пробьет час. Наступит развязка. И вот пошлю к тебе орла»...

И ребенок исчез в водовороте времени, несясь на землю, чтобы воплотиться в Хандрикова... А там на его месте уже сидел другой ребенок и тоже ждал своей участи... А там была ослепительная лазурь и безмятежно рокотало море. И была тишина. И в «мировых объятьях, чернобредовых, неся херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня... И море шептало: “не надо, не надо”... И херувим рассыпался потоком искр»...

И казалось, что кто-то освящает законы времени и пространства всё одним и тем же напевом — печальным и вещим, освящает миры и хаос: «Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия»...

Ребенок проснулся в магистранте Хандрикове... Несчастен и худ был маленький Хандриков... Всего боялся, ибо все напоминало колыбель его — там, за порогом вечности... Занимаясь в лаборатории — страшился доцента Ценха с зловещими красными губами и испытующим, ненавидящим взглядом. Ценх был сух и педантичен, любил науку и считал Хандрикова бездарностью. Но последнему казалось, что Ценх задумал против него что-то недоброе. Образ искусителя колпачника из грота сквозил в Ценхе, обдавая морозным дыханием страха... Ценх вел процесс с психиатром Орловым — и это тоже казалось особенным.

Подчиняясь кому-то старинному — Хандриков занимался в лаборатории, таскал на плечах ревущего младенца, был верен серенькой Софье Чижиковне, ездил в конке, отбывал жизненную повинность... Но все было странно. Все напоминало что-то особенное, навеки погибшее. Все волновало скрытым смыслом своим.

Работая в лаборатории, Хандриков вел размышления. Приводил вселенную к нулю... Тошнило... Говорил: «работаю на Ивана. Иван на Петра. А Петр на меня. Души свои отдаем друг за друга... Остаемся бездушными, получая лишь необходимое право на существование. Получая нуль, становимся нулями. Сумма нулей — нуль. Это — ужас»... И вот «все ужасалось и разверзлось, сияя. Над головой повисла пасть — пропасть Вечности... Старые стены лаборатории казались подземными пещерами. Вдали раздавался шум моря. Но это была электрическая печь»...

Хандриков мчится в конке, изнуренный холодом и болью в груди, но и конка особенная... И кондуктор, и прохожие, и улицы — кажутся повторениями знакомого сна. И зловещая зевота всемирной скуки искривляет лицо Хандрикова. Он вспоминает, что «все это уже совершалось и что еще до создания мира конка тащилась по всем направлениям»...

А жизнь, а действительность — мертвый сон... И супруги Хандриковы кажутся «трупам, посаженными за стол». Нянчит Хандриков ребенка, и липнет к нему паутина сна. В кошмарном сне спит земля, спят профессора, спит Ценх, спят супруги Хандриковы, и Софья Чижиковна, положив желтую руку на плечо Хандрикова, шепчет: «Отчего ты не нежен со мной»? А над городом повисла бледная, круглая луна, повитая венчальной фатой. Она говорит: «Вот я, круглая, как нуль... Я тоже нуль... Не унывайте»...

У парикмахера Хандриков смотрит в зеркало и видит свое отражение. А в противоположном зеркале отражается тоже Хандриков. «И еще дальше опять пара Хандриковых с позеленевшими лицами, а в бесконечной дали можно было усмотреть еще пару Хандриковых уже совершенно зеленых. И Хандриков думал: «Уже не раз я сидел вот так, созерцая многочисленные отражения свои. И скоро опять их увижу!»»...

Но увидел старика психиатра — Орлова... Проходил Орлов с пачкой «Геркулеса» под мышкой, ухмыльнулся в бороду. И в Орлове узнал Хандриков Старика — исчислителя времен... *И тогда началось.*

Стал безумен Хандриков от мыслей своих, испорченных отражениями. Не давала делать ему вычисления Вечность. Объявлялась Вечность в каждом явлении и звала, и манила к себе: «приди ко мне!» — и ненужной казалась жизнь, и хотелось вернуться...

Отвезли Хандрикова в санаторию для душевнобольных, к психиатру Орлову... Кружился Орлов, как тот старик — исчислитель,

призывал к покою, говорил бархатным басом... Приближался возврат. *Тут понял. Увидел.*

В безумии увидел Вечность свою, колыбель безумную, царицу свою... Улыбался... Шептал невнятные слова... Радовался, что Старик спас от Ценха...

А мир близок к закату. Мир во власти Ее — Жены голубой в золотом венце, неизменной... Хочется крикнуть, призвать, разрыдаться, увидеть лицом к лицу... Но не дают кричать. Кружится старик Орлов, ухмыляется в бороду, навевает успокоительные сны. Приглашает Хандрикова кататься в лодке... Плавают они и говорят об одном (но Орлов притворяется), и Хандрикову хорошо. Над несчастьем безумия не смеется Орлов, Орлов утешает. Ведь это не Орлов, это — Старик, исчислитель времен, *оттуда*... Орлов говорил, утешал, ласкался, хитрил. Орлов заискивал: «Что значит ваше сумасшествие и мое здоровье перед мировым фантазмом? Вселенная всех нас окружила своими объятьями. Она ласкает, она целует. Замерте. Хорошо молчать»...

Молчали. Припадала к лицам росистым покоем, улыбалась... И сладко ныло сердце. Замирало сердце в муке близкого свидания... Шептала:

Я так близко от вас,
Мои бедные дети земли
В золотой, янтареющий час...

И звала глубина: «приди ко мне, побудь со мной» Глубина голубая...

«И они замирали.

Вдали несли багровый метеор, оставляя на озере летучую полосу огня. И струи плескали: “не надо, не надо”... И метеор рассыпался потоком искр»...

Однажды, катаясь в лодке — Хандриков почувствовал *приближение*. Ласкала волна, отражаясь на лице его брызгами алмазов. Глубина образовала водоворот. Глубина звала: «приди ко мне. Твоя я, твоя. Твоя навсегда». И оттуда смотрел на Хандрикова похудевший ребенок с лазурными очами и тихо смеялся над ним»... И чем больше всматривался в глубину, тем прекраснее казались опрокинутые, дальние страны. И где-то пели: «приди ко мне, приди ко мне». И ему казалось — это возникал старческий зов, знакомый и милый»...

И он решился, нырнул, захлебнулся, хотел крикнуть «иду», но не успел — потонул, исчез...

Над ним стоял белый Старик с ожерельем на шее, к которому был привешен знак неизменной вечности.

Словно улыбался Старик, словно радовался встрече, словно говорил, благословляя возврат:

«Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия»...

Мир для А. Белого вследствие влюбленности в вечность стал сквозным... Он далек от реальности, потому что всё лишь во сне. Он — далек от земли, потому что над землей протянулась голубая весна... Но земля приближается... Вот кружится жизнь в пляске своей унылой, медлительной, приходят дни, свершаются события, появляются лица, мир действительности, мир будней входит в творчество, требует отображения... Но надоели слова, и они не выразят того, что в вещах... А раз реальность вещей навеки закрыта, нужно завуалировать бездны символами. И вот — возникает символическое творчество. Символы — образы идей — приобретают музыкальный ритм, набирают красочности и сочности, символы как бы создают мир отдельный, мир замкнутый в себе, который поет о глубине жизни, который живописует события, который творит синтез.

Символ А. Белого — это как бы оркестровка мира в словах, и образы сквозят вечностью, и образы чаруют переливами цветов и звуков, и образы создают настроение... Он уже не мыслит понятиями, он мыслит образами, символизирует действительность. Он подымает действительность до вечного, воплощая события дня в ритм, надевая на лица загадочные маски, облекая движения души кристальной формой образов...

Если явления — лишь тени во сне, если нельзя разгадать сущности вещей, если из хаоса не вылепишь целесообразности, то нужно закрепить эти узоры теней на экране воображения в виде цветных образов, нужно покрыть бездны волнующимся атласом тайны, нужно проникнуть сквозь хаос в глубину и глубину освятить светлой надеждой лазури...

Весь символизм Белого — это узоры теней, это — как бы защита от всякого реального воплощения, это затейливые отражения в зеркалах души, это дух жизни, как бы получивший материальную оболочку, но не сама жизнь. Ибо сама жизнь лишь явление, ибо возможность жизни ограничена пространством и временем и нельзя понять, что реально, а что не реально, — дух или материя, сон или пробуждение...

Белый пленен Кантом, пленен до муки, его трансцендентальный идеализм часто принимает форму настоящего иллюзионизма, и тогда напрасны все попытки вырваться из-под власти теней, и все кажется сном без пробуждения, а предметы и лица лишь отражениями. Его символизация идей, пожалуй, имеет значение *sub specie aeternitatis**, но реального значения я в ней не вижу: ведь оттого, что Белый будет творить свой символический мир, ни-

* с точки зрения вечности (лат.).

сколько не разрешится загадка жизни и не будет понятно, что есть действительность и куда идти...

Он как бы запутался в призрачном мире своем, но мир его отличен от жизни и не объясняет ее смысла, его символизм как бы стремится затушевать мировую бессмысленность, его мировоззрение словно умерщвляет живую действительность, одевая ее прозрачную вуалью символов, и эта последняя как туман поднимается над миром, закрывает мир, испаряется, — и снова дым, и снова отчаянье неизвестности, и снова сознание, что сон бесконечно длинен и что напрасна молитва о том, «чтобы мы очнулись от сна».

И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, — только сон мимолетный!*

В симфониях А. Белого символизм нашел себе прекрасное выражение. Это первая попытка в России заменить словесное выражение звуками, ввести в литературу музыку... Здесь не место распространяться о том, насколько удалась эта попытка, но нужно заметить, что музыкальная форма символизации у Белого в некоторых его симфониях получила оригинальное и сильное выражение, не уступающее иногда по богатству стиля и образов перед шедеврами символизма (в этом отношении замечательна его первая северная симфония)...

Нужно принять во внимание необычайную техническую трудность такого рода творчества, чтобы всецело понять заслугу А. Белого в этом отношении: в своих симфониях ему приходилось одновременно выполнять двойную работу: заботиться об отделке стиля, построении тем и правильности музыкальной структуры, с одной стороны, и соблюдать глубину идейного содержания — с другой... В результате вышло так, что там, где эта заботливость достигла почти математического педантизма (как, например, в 4-й симфонии), впечатление гораздо слабее и чувствуется больше искусственности, чем в тех симфониях, где элемент бессознательного творчества преобладает над виртуозностью техники (1-я и 3-я симфонии)...

Вообще же наиболее удачной в этом роде творчества нужно признать 1-ю северную героическую симфонию. Здесь музыкальный ритм символизации развернулся во всей своей гибкости, сложности и прозрачности. Здесь символы как бы приобрели своей цветовой сочностью почти осязательную и обонятельную силу. Здесь символы — словно ярко-цветные фигуры, вышитые на ла-

* Фет¹⁶.

зурном фоне вечности; вот они оживают, и в них поет прозрачность, сквозь них просвечивает голубое, они как бы реализуются в звуках, но вот — молчанье, и в молчаньи — провалы сквозь образы в бездонность, и цветочные фигуры снова струятся, опьяняя воздушными своими чарами, мерцая серебристым трепетом тайны...

В 1-й симфонии все действующие лица словно нежные тени забытых снов, словно странно-нежные, очень прозрачные, тающие, почти незримые, почти воздушные цветы. И в них — пугливые переливы метелей, и смолистый запах соснового леса, и жуткие чары средневековья с рыцарскими турнирами, шабашами ведьм, колдованиями... Черный лебедь печали сквозит здесь в кристальных водах трепетной тишины, в серебряных ризах восторга замерла нежная, светлая душа королевы — «белой лилии на красном атласе», в синих дымчатых чашах лесов чернеют силуэты великанов. Гномы, горбуны, кентавры, мрачные всадники населяют пространство, которое переходит под конец в сказочное междупланетное царство духов... Постепенно нарастающие лейтмотивы словно соединяют разорванные звенья длительных, сладко-мучительных, блаженных, тревожных снов... А над снами, над сказкою севера, над царством души, над видениями скользит лик знакомой жены, чудотворной царицы. Здесь она — женщина в черном, в длинных покровах, и лицо ее затемненное, и милый профиль ее тонет на фоне звездно-голубой ночи...

Во второй симфонии рельефнее выступает отношение А. Белого к действительности. Это отношение — сатирическое и вместе с тем мучительно-серьезное, ибо мысль запуталась в отражениях. Хочется освобождения от теней, хочется увидеть живую реальность, но везде — отражения... Мировая скука зевает из жизни, дряблая, сморщенная старуха — жизнь трагикомична. Над городами, деревнями повис «свод серо-синий с солнцем-глазом посреди», освящая хаос... Ирония сквозит в музыкальном отображении действительности, и понятно, что она полна скуки, она ненужна, она безобразна и бессмысленна и кажется утомительным сном без пробуждения. В лице выведенного во второй симфонии философа, плененного Кантом, находим отзвуки мировоззрения самого автора, не лишённые иронической окраски... Философ с «Критикой чистого разума» в руках, среди хаоса жизни, в круговороте времен, весь испепеленный книжною мудростью, кажется насмешкой и над Кантом, и над действительностью... Тщетно стремится философ преодолеть кантовский догматизм, его пространство и время, его метафизику, но остается для этого одно лишь безумие... А. Белый к сумасшествию своего героя отнесся тоже иронически, ибо для него рассудок и идеи выше всего... Но еще не раз ему придется вернуться к идее безумия с надеждой избавиться от

кантовской мудрости... Но еще не раз будет метаться он во все стороны, ища места, где бы не было наконец теней, где была бы реальная жизнь, — и вот эти его поиски, эти метания, эти искания истины и выражают то *главное* в А. Белом, что особенно дорого мне: этот пламенный, струящийся в муке — напряженный полет его, с вечными надрывами на полпути, эти сверкающие молнии внезапных озарений, эту почти подвижническую любовь к религиозным ценностям.

Я не буду долго останавливаться на религиозной стороне мировоззрения Белого, потому что эта сторона менее ясна и страдает некоторою недоговоренностью... Но ясно, что религиозность А. Белого направлена к обожествлению вечности... Вечность имеет религиозный смысл. Вечность преображает жизнь. Она — единственная таинственная реальность, с которой нужно считаться. И все наши помыслы должны быть направлены к ней. Лик ее является то в виде Жены облеченной в солнце, то в виде лазурного сияния, но не в лике главное. Она божественна. Она землю срывает и кружит, уносит с собой, качая. И мы в колыбели. Склонившись над нами, она улыбается, и мы чувствуем восторг несказанный, восторг, переросший вселенную, и мы чувствуем радость детей, радость светлопечальную... «И уже среди бела дня мы научимся узнавать нашу радость, взирая на ясно-лазурное грустящее радостью небо. Только пристальный взор обнаруживает бездну, открывающуюся в прозрачном океане белого воздуха... Соединение бездны мира, находящейся там, где нет ни времен, ни условий, с воздушно-белой прозрачностью, как с символом идеального человечества — это соединение открывается нам в соединяющем цвете неба — этом символе богочеловечества — двуединства»... * И каждый миг этой жизни должны мы делать вечным — это наше священнодействие. И любовь наша есть лишь отдавание себя вечности, погружение в нее, красота ее... «Ибо любовь переносит в вечность точку ее приложения, Любовь теургична по существу»... Вечность — наше бессмертие. И кто любит ее, тот не знает смерти. «Вот панихида. Вы стоите над гробом сына с розовыми камелиями. Друзья ваши плачут. Жена ваша в слезах. В синих волнах ладанного дыма мерцают слезные жемчуга. “Жемчуг, жемчуг — это заря”, — шепчете вы: и знаете, что это — счастье. А если и это — счастье, то что же несчастье? Вся жизнь — только счастье, когда она приведена к заре, теперь никогда вы не умрете. Над всей вашей жизнью будет всегда развернутая лазурь. В глазах у людей вы будете искать этой лазури: глаза людей — это голубой небесный пролет, который закрывают белоснежные облачка маленьких радостей и темные точки несчастий. Они приходят

* «Священные цвета»¹⁷.

и уходят, заслоняют лазурь, значит ли это, что нет лазури? Всегда, всегда она — с нами: наше счастье, наше тихое, как жемчуг, счастье — оно всегда с нами. Небо омывает землю сверху и снизу. На земле наша жизнь. Наша жизнь летит все скорей, все скорее. Она летит. Наша жизнь, как дитя, почивает в голубой колыбели. Она всегда в колыбели. Наша жизнь — взвизгнувшая ласточка, утопающая в лазури. Кто это понял — понял, что нет ни боли, ни радости: и в боли, и в радости таинственная тишина небесного озера, по которому пробегает рябь тучек. Кто понял, понял все. Он не изменится, быть может, работа его удесятерится. Но в суматохе жизни, стоя у телефонной трубки, вспомнит он, что над нами лазурь, и ах, улыбнется себе самому...» * Лик Христа, возвышающегося над миром, мистическая тайна Христа, Его неизбежность, необходимость, понятны Белому именно так, как понятны и мне. Его Христос есть воплощенная вечность... И ему ведома спасительная идея *безумия во Христе*, идея, которая только в России то и возможна...

И ему ведом путь ко Христу, путь мучительный, путь переоценки всех ценностей, путь на головокружительную вершину, путь туда, где не нужен мир, где мира нет и не может быть, где человек сливается с Богом своим навеки! Он говорит так ясно: *«Пройти сквозь формы мира сего, уйти туда, где все безумны во Христе — вот наш путь...»* ** В мировоззрении А. Белого вырисовывается также образ мистической вселенской церкви в таком виде, как представляется она и Соловьеву, и Мережковскому, и Вячеславу Иванову, — но понятие церкви у него чисто символично, до абстрактности, оно лишено у него даже тени какой бы то ни было реальности, иногда оно соединяется с эсхатологической идеей... «Тогда будет новая земля и новое небо. Это и будет концом мира сего. Бесконечная линия причинности, развернутая во времени, обращается в точку. Стоящие в начале и конце — одно. В конце мира полнота утверждения, окончательность образов. Проснулась душа... Окончателность христианства, новозаветность мысли о конце, неожиданное облегченье и радость, которая неизменно содержится в этой мысли, — вот свет, запавший нам в душу... Образ мистической церкви на границах времен и пространств. Тают пространства. Начало времен сливается с концом. Образуется круг времени — “кольцо колец, кольцо возврата”... Оттуда брызжет солнечность. Вот она явит образ свой, но подыметя голос из безвременья: “Ей, гряди скоро”... Церковь А. Белого, таким образом, носит чисто апокалипсический характер. Но эта идея — идея вселенской мистической церкви, долженствую-

* Арабески, с. 379¹⁸.

** «Священные цвета»¹⁹.

щей появиться после конца мира сего, — не доведена у него до конца. Нельзя понять — есть ли она (Церковь) возврат к вечности только духа, или это мечта Мережковского о синтезе плоти и духа получила здесь свое несколько видоизмененное выражение. Во всяком случае и Христос, и идея церкви не занимают в мировоззрении А. Белого центрального места, а являются лишь концом одного из этапов пути его, так сказать — завершительной, идеальной точкой, метафизическим утешением. Но она так же не реальна и прозрачна, как и весь символизм Белого... И не в этом ключ к пониманию его души. Религиозная точка зрения является лишь частью его разностороннего и богатого разнородными ферментами мировоззрения... Но значение религии понято им вполне совершенно, хотя опять-таки — чисто символическим образом.

Творческий инстинкт все время заставлял А. Белого выйти из рамок кантовской гносеологии. Если мир есть лишь только наше представление, возникающее по законам пространства и времени, если навек закрыта для нашего познания реальность вещей, если вся жизнь лишь отражение в нас неизвестного я, то не находимся ли мы во сне и не грозит ли нам неизбежность вместе с двенадцатью категориями и синтетическими суждениями a priori очутиться в дураках? И как пробудиться от сна?

«И сам магистрант Евгений Хандриков дивился себе, ползающему в пространстве и времени, потому что в душе он таил надежду, что *кругом всё сон, что нет ничего*, что бесконечная пустыня протянулась вверх, вниз и по сторонам, что он окутан туманной беспредметностью и звездные миры тихо вращаются в его комнате». И тот же Хандриков развивает излюбленную мысль А. Белого о бессмысленном сне нашей жизни таким образом: «Мы можем оказаться не людьми, а их отражениями. И не мы подходим к зеркалу, а отражение кого-то, неизвестного, подходящего с *той стороны*, увеличивается размером на зеркальной поверхности. Так что мы никуда не уходим, ниоткуда не приходим, а растягиваемся и стягиваемся, оставаясь на той же плоскости. Может быть, стоим прямо, а может быть, вверх ногами, или бегаем под углом в 45°... Быть может, все возвращается. Или все возвращается видоизмененным, или же только подобным... Все неопределенно. Самая точная наука — наука самая относительная. Но отношение без относящихся — нуль... Все течет, несется. Мчится на туманных кругах. Огромный смерч мира несет в буревых объятьях всякую жизнь. Впереди него пустота и сзади то же. Куда он примчится?..» **

Наше познание есть лишь отражение, и никто не сможет доказать, что оно соответствует действительности, категории и апри-

* Возврат, с. 46.

** Там же, с. 83—84.

орные синтетические суждения суть лишь функции нашего разума, мы бродим ощупью около вещей в себе, как слепые, и уверены, что всё видим и всё знаем, но мы знаем лишь реальность наших же собственных восприятий и представлений, имеем дело только лишь с формами познавательных способностей, а не с миром реальным, которого познать не можем, ибо всякое постижение и всякое познание не только субъективно, но также и относительно... Попытка Канта утвердить объективность субъективных суждений не привела к чему-нибудь прочному, ибо сама-то его попытка сделать априорные суждения объективными и общеобязательными есть также попытка в сущности субъективная (ибо критерия объективности он так и не мог найти), попытка, имеющая ценность лишь для него самого... * А если так, если все относительно, если всякое познание есть лишь функция единичного разума, то единственным критерием истинности познания может быть только одно наше я. Только оно одно создает себе миры, познает их и изучает, может примириться с ними или разрушить их, ибо весь мир — только во мне, а до того, что этот мир есть еще в других субъектах — мне нет никакого дела, ибо исчезну я — исчезнут и эти субъекты, и мир, в них отражающийся. Эту мысль, хотя и не во всем ее объеме, почувствовал в конце концов и А. Белый, и здесь его иллюзионизм достиг своего апогея, здесь же субъективность переживаний оказалась единственным критерием действительности:

Ты знаешь: мир, судеб развязка,
 Теченье быстрое годин —
 Лишь снов твоих пустая пляска;
 Но в мире — ты, и ты — один,
 Все озаривший, не согретый,
 Возникнувший в своем же сне...
 Текут года, летят планеты
 В твоей несчастной глубине **.

Перед содержанием вещей в себе А. Белый так же бессилён, как и его учитель — Кант... Но если наше представление есть лишь отражение, если познание вещи есть не сама вещь, а, так

* Особенно не повезло Канту с установлением его знаменитого «категорического императива»: его попытки в этом отношении сводились к тому, чтобы сделать этот императив законом природы, но вследствие догматически-морального притязания «категорического императива» и эта попытка потерпела фиаско: оказалось, что некоторые, отнюдь далеко «не моральные» законы природы, обладают таким же правом на звание категорического императива, как и «моральные».

** «Урна»²⁰.

сказать, лишь ее фотография, то мы обречены на незнание. И в этом отношении эмпиристы куда счастливее нас, и какой-нибудь Локк, признающий за вещами способность производить на нас силу действия, во всяком случае находится ближе к реальности их, чем как бы совсем потерявший их из виду Кант... Монадология Лейбница также оперирует с живыми силами вещей, признавая одушевленность монад. И в этом отношении интуиция Лейбница и Бэкона обладает несравненно большею достоверностью и силою, чем смутная и книжная интуиция Канта в форме пространства и времени. Это способен признать и сам А. Белый, что видно из его иронического замечания относительно нежизненности Канта: «Мы можем соглашаться с “Критикой” Канта, но мы не можем отрицать, что Кант в своем кабинете был восьмым книжным шкафом среди семи шкафов своей библиотеки. И вот мы ставим вопросы. Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством?» *

Но вот возникает несколько щекотливый по своей неожиданности, но уместный вопрос: если наши общепризнанные и узаконенные рассудочные способности оказываются бессильными познать реальность вещей в себе, то не могут ли соответствовать этой задаче способности аномальные? Не можем ли мы познавать откровение в безумии или в экстазе? Достоевский на опыте показал, что можем. Князь Мышкин в минуты своих эпилептических припадков опытным путем, путем интуиции постигал именно то сокровенное содержание вещей, о котором ни Кант, ни прочие мудрецы не имеют понятия, эти мгновения были для него «необыкновенным усилием самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного»...²¹ За эти мгновения Достоевский готов был отдать всю жизнь свою. В эти мгновенья раздвигались горизонты мира, останавливалось время, не чувствовалось пространства, в эти мгновенья постигалось непостижимое и открывалась тайна мира. И не мог передать, потому что это было по ту сторону рассудка и нормального ощущения, и именно потому открывалась та сущность вещей, которую не может охватить нормальное сознание...

Философ у А. Белого делал попытки освободиться от времени и пространства и попал в сумасшедший дом. Но и сам А. Белый, которому ведомо *безумие во Христе* — доходил в творчестве своем не раз до надрыва, до бунта против нормальности, до *постижения экстаза*... И ему ведомо, что последнюю глубину можно познать только в безумии. Но для него и эта неуловимая форма таинственной безумной мудрости превратилась бы в научную схему, и в этом отношении он бессильнее Канта... Он не может побороть в себе

* «Искусство» (Арабески, с. 215).

догмата научности — и когда близка тень спасительного безумия — он отворачивается и боится, забывая, что в этом счастье.

Рой отблесков. Утро: опять я свободен и волен.
 Открой занавески: в алмазах, в огне, в янтаре
 Кресты колоколен. Я болен? О, нет, — я не болен,
 Воздетые руки горе на одре — в серебре.
 Там в пурпуре зори, там бури — и в пурпуре бури.
 Внемлите, ловите: воскрес я — глядите: воскрес
 Мой гроб уплывет — золотой в золотые лазури...
 Поймали, свалили; на лоб положили компресс*.

Но на одной точке А. Белый не мог остановиться. Сжигаемый пламенем, он бросался во все стороны в отчаянных поисках истинной реальности. От кантовского трансцендентализма он бросился в прямо противоположную сторону, к живой реальной действительности, и одно время воображал себя марксистом, преклонялся пред идеалами социализма, доказывая, что последний есть единственная возможная форма не только общественной, но и индивидуальной жизни. Конечно, это было так же трагикомично, как и попытки неохристиан войти в общественность. Но для самого А. Белого это было далеко от всякого практицизма (да и какой он общественник?), это был лишь один из этапов его мучительных исканий, одна из попыток освободиться от кошмарности идеализма и хоть ощупью найти ту необходимую реальность, которую он не в силах был постичь с помощью рассудочного познания.

Само собою разумеется, что для такого утонченного индивидуалиста, как А. Белый, грубая правда социализма — оказалась столь же ложною и ненужною формою реальности, как и его другая, тоже довольно эксцентрическая попытка — сделаться народником по рецепту Некрасова... Эта последняя отразилась в сборнике его стихов: «Пепел»... Но и народничество окончилось отчаяньем. Сжигающий пламень рассыпался пеплом, и душа не выдержала напряжения, душа надорвалась, как будто потухла...

С какой-то глухой, последней надеждой бросился А. Белый в серые пространства Руси, с чувством горечи и бессилия подошел он к деревне. Но оттуда пахло серым кошмаром бесцельной, страдальческой жизни, но оттуда ринулась в душу его ядовитая тоска полей, ворвалась метель грубого испепеленного ужаса обыденщины, и в вихре безумной тоски замаячили станции, поля, телеграфные сети, серая жуть безмерного пространства, безвременье, вьюги замученных жизней, и беспросветные дали, и тупая, почти физическая боль...

А душа устала. Уже не может гореть душа ярким пламенем, что-то оборвалось в ней, что-то потухло, душа томится, завывает

* «Пепел»²².

в вопле своем безотрадном, черною птицей носится над полями и виснет, и плачет, и ноет, и больно ей, больно до тусклого отупения, и острая стрела жизни пронзила ее насквозь...

В «Пепле» — вся боль России, мировая тоска, губительная и безмерная, мировое отчаянье, крик деревень, крик голых, холодных равнин, крик житейского отчаянья... Белый почувствовал тень смерти, тень безвременья над своей страной, и пепел ее вошел в его душу, и вот несется вихрь отчаянья, вихрь разметавшего душевного пепла по равнинам, по полям, по лесам, но все дальше, все дальше уходит и народ, и его нужды, и его безотрадная доля, а все ближе, все ощутительнее, все яснее *своя* тоска, своя беспомощность, свое горькое, последнее отчаянье и своя безмерная, тупая, ноющая боль!

Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой,
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?²³

Душа умирает... Среди этих холодных и диких пространств, среди диких людей, среди бессмысленной жизни — тоска надрывает душу, и хочется уйти все дальше, все дальше, бежать без конца, искать отдыха, искать пристани, где не слышно воя тоски, где можно забыться... Все дальше, все дальше лететь на сломанных крыльях, забывая пространство, забывая время, все дальше и дальше мчаться сквозь холод, сквозь ужас серый, сквозь отчаянный бред этой жизни, мчаться на сломанных крыльях и молиться о покое, о смерти, о пробуждении от сна!..

...Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные,
Пролетаю в поля: умереть...²⁴

...Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год.

...Века нищеты и безволя.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать!²⁵

Не уйти от тоски. И тоска сливается со смертью. Холодную жутью в визге метели нарастает невстречаемый прежде мотив смерти, и вот уже нет струящегося пламени, нет надежд, нет просветов, нет озарений, душу обняла и баюкает смерть, качает, уносит, с размаху бросает в гулкую бездонность забвенья, рыдает,

вопит, визжит похоронным криком над потухшей в распятии душой, зарывает в землю, душит, душит кошмаром своим безысходным — и вот уже больная зловещая улыбка на исхудалом, на приговоренном лице, и вот беспомощный стон, безответная жалоба, вопрос погибающего:

Я сел на могильный камень...
 Куда мне теперь идти?
 Куда свой потухший пламень —
 Потухший пламень — нести?²⁶

Но вот тоска сменяется блаженством смерти. Хорошо, что оставили силы, хорошо умереть. Хорошо и отрадно лежать в гробу и слушать рыдающий напев панихиды, хорошо возноситься, хорошо отлетать... «Наше счастье с нами!». И вечность с нами... И радость.

В черном лежу сюртуке
 С желтым —
 С желтым
 Лицом;
 Образок в костяной руке.
 ...Дилинь бим-бом.
 Нашел в гробу
 Свою судьбу.
 Сверкнула лампадка.
 Тонуть в неземных
 Далях
 Мне сладко.
 Невеста моя зарыдала,
 Крестя мне бледный лоб.
 В креповых, сквозных
 Вуалях
 Головка ее упала
 В гроб...
 Ко мне прильнула:
 Я обжег ее льдом.
 Кольцо блеснуло
 На пальце моем.
 ...Дилинь бим-бом.
 ...Поют.
 Но не внемлю.
 И жалко,
 И жалко,
 И жалко
 Мне землю...²⁷

Но за смертью наступает воскресенье. Но из собранного в урну пепла не замедлит вспыхнуть и вознестись новым чудом воскрес-

ший феникс — вечно живая душа... Иногда кажется, что А. Белый именно тем и преодолел смерть, что углубился в нее. И душа его снова вынырнула из охладевшего пепла, новой, чудесной птицей обернулась она и летит — и путь ее нов, и путь ее быстр и легок... А сверху манит все та же голубая бездна...

Душа горит и плачет невозбранно;
 Земля мертва: пройдут и не ответят.
 Но там, смотри: там, где заря — туманно.
 Там, где заря — иные земли светят²⁸.

После «Пепла» и «Урны» А. Белый на новых путях: он пишет своего «Серебряного голубя» — неприятно-искусственную стилизацию «под Гоголя». Он издает солидный и увесистый кирпич: «Символизм», делающий честь любому филологу... Теперь научные вопросы искусства всецело поглотили его, он как бы совсем ушел из жизни в затейливую механику стихосложения; читает в О-ве ревнителей художественного слова рефераты на тему: «об исследовании пятистопного ямба» (!)²⁹, и вообще обнаруживает зловещие признаки эстетического транса. Но мне кажется, что и это — лишь этап, а не путь, лишь искание, а не пристань. Но я верю, что А. Белый вскоре стряхнет с себя мертвую пыль эстетической скуки и явит нам свой новый облик, более рельефный и более содержательный.

А. Белый еще и теперь весь в гениальных возможностях. Он словно пробует крылья свои, словно готовится к полету, но самый полет еще не близко, и неизвестно, в какую именно сторону он полетит и куда придет.

Но когда я думаю о нем, мне грезится прозрачный сон в волнах лазури над бездною времен... На корабле стремительного сна мчится душа сквозь вихрь созвездий и миров к покою, к возврату, к свиданию. И лазурь улыбается, и тают облака грусти, и вся душа утопает в потоке влюбленности.

...В жизни загубленной
 Образ возлюбленной —
 Образ возлюбленной — Вечности,
 С ясной улыбкой на милых губах.

Такой А. Белый и ближе, и роднее, и понятнее мне. Ему ведома голубая тоска, и образ Христа, повисший над миром, и безумие во Христе, и улыбка распятия. И он знает трепетную тайну душ в ожидании чуда, и звучат его восторженные, молитвенно-детские слова:

«То здесь, то там мы в состоянии подсмотреть на лицах окружающих ту или другую черту святости. То лазурно-бездонные очи удивят нас, и мы остановимся перед ними, как перед пропастями,

то снеговой оттенок чела напомнит нам облако, затуманившее лазурь. Блеснет Вечность на детски-чистом лице. Блеснет и погаснет, и не узнают грустные дети, *печатать какого имени* у них на челе. Зная отблески Вечного, мы верим, что истина не покинет нас, что она — с нами. С нами любовь. Любя, победим. Лучезарность с нами. О, если б, просияв, мы вознеслись. С нами покой. И счастье с нами»*.



* «Священные цвета».